

А.В. Головин

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПОЛИЭТНИЧНОСТЬ (РОССИЙСКИЙ РАКУРС)

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
(научный проект № 16-01-18070 «Динамика этничности на Урале: ЭтноЭкспедиция – 2016»).*

Российская этнология и западная антропология расходятся по времени рождения (соответственно XVIII и XIX вв.) и основной тематике: главным героем российской этнографии выступал конкретный народ, западной антропологии – универсальный человек. По сей день этничность остается ведущей темой отечественной этнологии, в чем выражается ее ориентация на практику. Для понимания «анатомии полиэтничности» эффективен метод антропологии движения, обращенный не на статичные картины, а на мотивы поведения и сценарии взаимодействия этнических сообществ и их лидеров.

Ключевые слова: этничность; полиэтничность; антропология; этнология; Россия.

Формализовать понятие «потенциал» сложно, поскольку речь идет о возможностях, реализация которых зависит не только от наличия и количества ресурсов, но и от их ситуативных комбинаций, внешних вызовов, внутренних драйверов, активности действующих лиц, сценариев проектного осуществления. Особенно проблематичен расчет гуманитарного потенциала, часто описываемого в категориях «духа» и «настроения», а тем более в поле этничности, где мотивация нередко скрыта (иногда даже от ее носителя) или густо оплетена символами и условностями.

Среди гуманитарных феноменов этничности досталась роль джокера (помимо ее собственной функции). С одной стороны, она представляется устойчивым явлением; с другой – ее изменчивость, выражающаяся иногда в бурных ренессансах или эпизодической ледяной, обнаруживает свойство наполнять или окрашивать собой самые разные сферы и грани социальной деятельности. В тех или иных обстоятельствах этничность может стать мотивом или принять облик национально-освободительного движения, революции, национал-реконструкции, конкуренции элит, партийной идеологии, религиозного течения, экономического проекта, брендинга, группировки криминала. Подобные превращения этничности не только впечатляют, но и пугают, отчего диапазон ее характеристик варьирует в широком спектре между полюсами «ангел-хранитель» и «демон-губитель».

Граничащая с непредсказуемостью амбивалентность этничности вызывает у людей, ответственных за порядок, синдром этностраха или этнофобии. При этом недавний революционер-националист, добившись власти и укрепив ее, стремится избавиться от колющей одежды национализма и обрядиться в державную тогу, на которой этничность вкраена в прочие орнаменты. Все мировые идеологии и религии, империи и иные государственные системы пытались преодолеть или подчинить этничность, отмечая ее рудиментарность и предвещая ее закат. Однако в то же время нарождающиеся или жаждущие реванша идеологии и движения

вооружались национализмом и нередко добивались успеха (затем цикл повторялся). Речь, как видно, идет не об ошибках теории и не о казусах истории, а о регулярности противоречий в этничности. На других уровнях и орбитах (общинном, корпоративном, семейном, персональном) этничность также испытывает колебания, однако, при всей своей подвижности, сохраняет потенциал и актуальность.

Если под народом понимать самобытное и самовоспроизводящееся сообщество, то главным в его феноменологии оказывается познание не отличительных внешних признаков, а механизма самоорганизации. В этом механизме особенно значимо то, что обеспечивает коммуникацию, причем не только на уровне информации и сигналов, но и в системе ценностей, структурах иерархии и зависимости, ритмах сплоченности и разобщенности. Этничность обеспечивает безопасность и самореализацию участников сообщества. При этом народ не монолитен, его внутренние и внешние отношения полны конкуренции и ситуативности, что придает этничности многообразие и гибкость.

Сложность и актуальность этой проблематики образуют предметное поле современной этнологии, которая возвращается от недавней концептуальной растерянности к своему прямому назначению – исследованию этничности, полиэтничности, этносообществ и других проявлений феномена *этно*. Сегодня стирается грань между фундаментальной и прикладной наукой, подтверждая мудрость Б. Малиновского: «Если теория истинна, то она одновременно является и прикладной». Этнология изучает феномен этно в разных эпохах, ситуациях и проявлениях, включая глобальную геополитическую напряженность (во многом связанную с актуализацией этнических и конфессиональных позиций и противоречий), а также алгоритмы и сценарии реализации этнокультурного потенциала.

Расхождение антропологии и этнологии. На прошедшем недавно в Хорватии (Дубровник, 2–9 мая, 2016 г.) международном интерконгрессе антропологических и этнологических наук состоялась сессия,

посвященная практической антропологии и этнологии. Мой доклад «Практичное и практикуемое в российской антропологии/этнологии» обозначил уже привычный российский крен в этничность на фоне популярных в западной антропологии «общечеловеческих» тем вроде питания, насилия, миграций, беженцев, самопознания и организации науки. При этом проблематика этничности нашла живой отклик среди экспертов из Индии, Индонезии, Филиппин, ЮАР и других полиэтнических стран.

В постсоветское время пристрастие отечественных этнографов к этносу, этногенезу, этноистории и этническим процессам представлялось следствием пресловутого отставания от западной антропологии. Предпринятые шаги по исправлению ситуации – переименование специальности в «этнографию, этнологию и антропологию», развитие направлений социальной и культурной антропологии – принесли свои плоды (например, слово «антропология», означавшее прежде физическую антропологию, дополнилось новыми смыслами и измерениями). Однако, как и в советской этнографии, тема этничности осталась доминирующей; и даже в новых направлениях (юридической антропологии, теории нациестроительства, изучении миграций, антропологии города и медиа) она занимает видное место. У новейшей отечественной антропологии, ориентированной на западные образцы, все же упрямо торчат «уши этничности», и это можно считать своего рода «российским реализмом».

И в СССР, когда после этнобума 1920-х гг. этнографию разжаловали во вспомогательные исторические дисциплины, принудив заниматься первобытным коммунизмом и бытовой культурой [1], она настойчиво пробивала себе тематическое русло «этногенеза и этнической истории». Не остановили ее ни политические установки на «окончательное решение национального вопроса», ни курс на стирание национальных граней при коммунизме. Более того, среди гуманитарных марксистско-ленинских наук именно этнография позволяла себе вольнодумство относительно, например, стадиальности, диффузий, матриархата. Вольностью в эпоху советского интернационализма было и повышенное внимание к этноспецифике, характеризовавшей практическую ориентацию этнографов в поле «социалистического реализма».

Этнический уклон отечественной науки имеет глубокие корни, обособляющие российское народоведение от общего генезиса европейской антропологии и этнологии. Классическая антропология родилась в середине XIX в. в лоне европейского эволюционизма, что постулируется в учебниках по этнологии для университетов Германии, России, США и других стран. Например, в учебнике Московского университета раздел «Становление науки этнологии» открывается фразой: «Этнологическая наука сформировалась как самостоятельная отрасль знания в середине XIX в.» [2. С. 9]; немецкий учебник университетов Гёттингена и Мюнхена содер-

жит сходное утверждение: «Институционализация антропологии на фоне естественных наук произошла в конце XIX и начале XX веков благодаря трудам ряда основоположников (Бастиана, Боаса, Риверса, Малиновского)» [3. С. 16]. Англоязычные тексты содержат вариации на ту же тему, связывая начала антропологии и этнологии с выходом в свет «Der Mensch in der Geschichte» А. Бастиана в 1860 г., «Primitive Culture» Э. Тайлора в 1871 г., «Ancient Society» Л.Г. Моргана в 1877 г.

Между тем в России фундаментальные труды по народоведению появились веком ранее. Речь идет о сочинениях Г.Ф. Миллера, П.С. Палласа и, особенно, четырехтомного труда И.Г. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов» (1776–1780) на немецком и русском языках. По мнению Х. Фермойлена, само понятие *Ethnographie* было сформулировано в XVIII в. в связи с экспедициями по Российской империи [4. С. 101, 107]. В «Истории русской этнографии» С.А. Токарев охарактеризовал труд Георги как «первую сводную этнографическую работу – обозрение всех народов России, описание их хозяйства, образа жизни». В Европе сопоставимый по масштабам систематический обзор К. Чернига «Этнография Австрийской монархии» появился почти на столетие позже, в 1855–1857 гг. [5. С. 103; 6. С. 113].

Российская этнография и западная антропология расходятся не только по времени рождения, но и по мотивациям и практикам. Российское народоведение рождалось как эмпирико-практическое знание, заданное целями самопознания и самоорганизации империи: Екатерина II силами приглашенных академиков-немцев проводила инвентаризацию имперских ресурсов, в том числе человеческих. Для монархии, ее предшественников и современников это знание было «имперским реализмом». Этнография по-русски – картина многонародности империи – создана исследователями-путешественниками XVIII в., а одному из них, И.Г. Георги, довелось завершить длинную траекторию становления науки фундаментальным этнографическим сводом. Когда в 1797 г. академик Г. Шторх восторгался этнографическим многообразием России, отмечая, что «никакое другое государство на земле не имеет такого разнородного населения» [7. С. 58], основанием его пафоса были достижения российской этнографии. С тех пор эта традиция народоведения укоренилась и, скорее всего, неискоренима в российской науке [8. С. 59, 67].

Европейская наука о человеке и народах тоже рождалась «в тени колониализма» (по выражению К. Леви-Стросса), но приобрела облик не эмпирической этнографии, а универсальной антропологии. Российское народоведение фокусировалось на отдельном народе и имперской палитре народов, тогда как западная антропология синтезировала общий ход эволюции человечества из фрагментов разных культур. Иначе говоря, главным героем российской этногра-

фии выступал конкретный народ, западной антропологии – универсальный человек. В трудах западных эволюционистов XIX в. фигурировали не народы (как у российских академиков XVIII в.), а стадии прогресса человечества от дикости к цивилизации, для иллюстрации которых культуры народов мира служили лишь базой данных. Таким образом, рожденная в XVIII в. российская эмпирическая этнография существенно расходится с рожденной в XIX в. западной универсальной антропологией.

Сегодняшний тематический приоритет этничности в отечественной этнологии – дань не только научной традиции, но и сохраняющейся практичности науки. Этот реализм меняет политические зонты (имперский, социалистический, российский), но остается на своем месте. В XVIII в. империя создала народоведение как средство самопознания и нациестроительства, в XX в. «национальный вопрос» был мощным драйвером политических и социальных преобразований. Не случайно СССР был образован как союз народов, а Верховный Совет составлен из двух палат – Совета Союза и Совета Национальностей. Как Запад опирается на многопартийность, так Россия/СССР – на многонародность, и этнические мотивы по сей день служат главным противовесом политическому централизму.

Анатомия полиэтничности. Многонациональность России – устойчивый образ, представленный метафорами «семья народов», «тюрьма народов», «дружба народов», «братство народов». Штампом официальной риторики давно стала фраза об изобилии народов (обычно «больше ста»), населяющих тот или иной «многонациональный край». Привычка, даже на бытовательском уровне, считать полиэтничность достоянием уживается со стремлением унифицировать народонаселение под эгидой династии, империи, православия, социализма, федерации. В балансе державности и этничности заметны колебания: по переписям, в периоды политического кризиса число народов растет, во времена расцвета централизма – сокращается. В условиях революционного «этнобума» перепись 1926 г. зафиксировала 175 народов, переписи эпохи тоталитаризма 1959–1989 гг. – от 121 до 128, постсоветские переписи 2002 и 2010 гг. – 182 и 194 соответственно. Понятно, что эти колебания во многом зависят от государственной «политики переписи», однако сами по себе управленческие установки предопределяются национальными движениями, их подъемами и спадами. Державность и этничность – не антагонисты; их конкурентное взаимодействие относится скорее к разряду взаимно стимулирующего и играет роль системы сдерживания и противовесов.

По наблюдению В.А. Тишкова, «культурная сложность» (этнокультурное многообразие гражданской нации) «сжимается в годы политической централизации и общегражданских потрясений и обретает актуализированное старое и вновь обретенное разнообразие в эпоху демократизации, деколонизации и массовых

миграций» [9. С. 168]. Впрочем, было бы упрощением считать, что державности всегда свойственна центростремительность, а этничности – центробежность: то и другое имеют обратные проекции и образуют сложное векторное сплетение. Например, в столице и крупных городах складываются активные сообщества представителей «окраинных народов» и диаспор, играющие роль «этнических лобби» в регулировании межэтнических контактов и конфликтов, позиционировании и продвижении этнокультурного потенциала (в формате фестивалей, медийных и других проектов).

Демографический тон в суждениях о множестве народов создает таблично-статистическую картину, в которой теряются индивидуальность и самобытность каждого народа. Этот подход по-своему оправдан, поскольку дает обзор «массива», однако, без этнографической конкретизации, напоминает древнее представление о плоской Земле, годное для самоуспокоения, но пренебрегающее сущностными реалиями. В историческом контексте верные в своей основе суждения о том, что Россия испокон веку была многонациональным государством, настраивают на восприятие полиэтничности как данности, не требующей изысканий и разъяснений. На обыденном уровне это дает возможность абстрактному чиновнику реагировать на запрос абстрактного народа с выражением недоумения и даже укоризны: «Да вы поймите, вас же больше ста...».

Массиву народов в демографических и социологических построениях противостоит этнографическая индивидуализация народа. Ни то ни другое само по себе недостаточно для считывания сценариев межэтнического взаимодействия, а друг с другом эти подходы, как говорят кинематографисты, «не монтируются». Для понимания «анатомии полиэтничности» может быть полезен метод антропологии движения, обращенный не на статичные картины, а на мотивы поведения и сценарии взаимодействия этнических сообществ и их лидеров. Для демонстрации этого метода я позволю себе краткий экскурс в теорию движения (в том числе колонизации) применительно к истории Руси/России [10, 11].

Антропология движения выявляет универсальный алгоритм формирования обширных сложных обществ, основанный на взаимодействии магистральных и локальных культур. Локальная культура осваивает биоресурсы (экоадаптация), магистральная – социокультурные ресурсы локальных культур (экоосоциоадаптация). Они различаются стратегией и масштабом контроля над пространством: локальная культура «возделывает» конкретную эконишу, магистральная – синтезирует локальные группы в сети коммуникации и сложные сообщества, часто приобретающие облик государств. Главную роль в посредничестве играет военнополитическая, жреческая или торговая элита. Язык магистральной культуры становится, как правило, вторым языком охватываемых ею локальных групп; нередко то же самое происходит с культом и системой власти. Ло-

кальной культуре земледельца, рыболова или ремесленника присуще бережное отношение к границам дома, селения, культ родного края с его озерами, рощами, духами, мифами. Магистральная культура обладает технологиями пересечения границ, вторжения в чужой мир, власти над пространством. Этому соответствует характер идентичности: если земледелец или рыболов в своей локальности может позволить себе выбор одной устойчивой идентичности, то торговец или политик на перекрестке социальных связей обречен на маневр между различными позициями, их комбинирование и менеджмент. Впрочем, различение локальности и магистральности – не классификация культур, а обозначение полюсов спектра, в котором возникает масса промежуточных (смешанных) вариаций.

Полиэтничность Руси и России в пространстве Северной Евразии сложилась благодаря охвату локальных сообществ мобильными магистральными культурами, условно называемыми норд-русской и орд-русской. Первая, имея в качестве исходного очага Скандинавию, сложилась в Балто-Понтийском междуморье в готское время, но наиболее ярко проявилась в эпоху викингов на основе взаимодействия (симбиоза) норманнов и славян (прежде всего словен). В этом альянсе варяги (ладожане, новгородцы) играли магистральную роль создателей обширной военно-торгово-государственной сети коммуникаций, а славяне обеспечивали освоение локальных ниш, в том числе вновь колонизированных. В стиле, близком к греко-полисному, северные колонии множились и порождали свои подбоя, образуя сеть коммуникаций на принципах торгово-политического партнерства. Вторая, орд-русская, традиция, связанная корнями со степным миром, воздействовала на Русскую равнину с неолита, но наиболее отчетливо в виде мощной магистрали выразилась в монгольскую эпоху. Монголы покорили Русь не только военными набегами, но и посредством «приручения» знати и введения своего закона (ясы, ясака). Орд-русская магистральность свойственны жесткая иерархия, военно-административное подчинение, позднее (в московскую эпоху) – «чиновничий стиль» управления. Орд-русская традиция в московской версии обеспечила успешную экспансию за счет ордынской по своим корням магистральности и славянской адаптивности.

Особую роль сыграла православно-русская (понтийская) магистральность, распространившаяся с христианством через Причерноморье и принявшая облик теополитики, связавшей государственной религией народы Русской равнины, а затем Российской империи. Понтийская магистраль была не только руслом религии, но и генератором православно-русской мифологии. По ней на Русь передавалась идеология Царьграда как нового Иерусалима и нового Рима, Киева как нового Царьграда, из которой произросли идеи «Русь – новый Израиль», «Москва – новый Иерусалим», «Москва – третий Рим». За редкими исключениями, вроде митрополита Илариона, церковными иерархами на Руси

были греки. Чужеземная отстраненность греков-иерархов позволяла им «по воле божьей» освящать любую власть, в согласии с которой проводилась христианизация. В ордынскую эпоху церковь, обладавшая монополией на идею «царства», освятила господство хана, позднее – московского царя и российского императора.

Три магистрали Руси, обозначаемые как нордизм, ордизм и понтизм, стали силовые линии, связавшие множество локальных культур и сообществ Северной Евразии. Возможно, именно разнородность трех магистралей сделала возможным их совмещение при «дизайнерской» роли теополитики: в триаде нордизм–ордизм–понтизм именно третий элемент сыграл роль посредника и примирителя контрастов нордизма и ордизма; кроме того, он обладал своим выразительным голосом и институтом волеизъявления (клиром), отлаженной риторикой и интеллектуальной стратегией. Разнородность трио не помешала, а в известной мере способствовала выработке эклектичных, но эффективных методов контроля над огромным и многообразным социальным пространством. Партнерско-сетевой стиль нордизма (в лице новгородцев, а затем поморов) настраивал взаимодействие на уровне межличностных и групповых торгово-экономических контактов, военно-административный стиль ордизма обеспечивал подчинение и иерархию, миссионерский стиль понтизма освящал контролируемое пространство теополитической идеологией. Потенциал магистральных культур в их взаимодействии и взаимной конкуренции обеспечил быструю колонизацию и охват огромного пространства Евразии.

Магистральная триада была не только двигателем экспансии, но и механизмом взаимодействия с местными сообществами. Например, в колонизации Урала по-своему развернулись все три магистрали: нордизм – в промышленной практике Строгановых, ордизм – в завоевательных стратегиях Москвы и других ханств/царств, понтизм – в миссионерстве Стефана Пермского и его последователей. Соответственно выстраивались взаимоотношения разных русских с местными народами, среди которых обозначались противники и союзники разных оттенков, длинные цепочки зависимости и кооперации. Все народы Северной Евразии в контакте с русскими испытали существенные преобразования, вплоть до «этногенеза»: например, пермяне разделились на коми-зырян, коми-пермяков и удмуртов; в конфликте с русскими и крещеными пермянами обособились «безверные вогуличи»; в союзе с русскими служилые остяки Коды стали элитой Приобья, приобрели новые вотчины и владения; коми-зыряне в альянсе с русскими распространились по всему уральскому Северу и добрались до Тихого океана. В антропологическом измерении колонизация Урала, включая Сибирское взятие – многоголосие, в котором соучаствовали, помимо Ермака и Строгановых, сибирские царевицы и мурзы, вогульские и остяцкие князья,

мятежные черемисы и зырянские торговцы-проводники.

Русские по ходу экспансии и адаптации обогатили собственное «культурное многообразие»: москвичи и новгородцы, казаки и поморы, старообрядцы многих согласий, чалдоны, севрюки, устынцы – малая часть отличающихся друг от друга, иногда до противостояния, русских. Другим измерением многообразия стало сословное деление, усложнившее «русскую этнопанораму». В Смуте и колонизации Сибири особенно ярко обозначились замысловатые сценарии комбинационно-состязательного взаимодействия русских. Например, за Енисеем последовал разгул колонизации, в котором смешались интересы северных промышленных людей, южных казаков и олицетворявших волю центра воевод. Восточная Сибирь превратилась в «дикий восток», где делили угоды разные партии любителей «ничейных земель» и ясака. Затем последовали волны новых переселений, еще больше усложнивших этнокультурную картину, но сохранивших принцип полиэтничности как во внутренних, так и во внешних связях русских. Большевицкая революция с активным участием «угнетенных инородцев» сотрясла и существенно преобразовала русское сообщество, заменив его элиту (в чем, собственно, и состояла революция), но в очередной раз выявила базовое этническое свойство русских образовывать не локальный народ, а обширное многообразное сообщество, существующее во взаимоотношениях с другими народами.

Сложную этнокультурную систему внутренних и внешних связей русских невозможно представить как простую и лаконичную картину культуры (что, кстати, вызывает у русских самоиронию). В этой картине лес и поле, Аввакум и Толстой, нефть и космос, православие и коммунизм, вече и крепостничество, смерды и князья, водка и матрешка. Именно матрешку, по материалам Уральской этноэкспедиции, русские уральцы обозначили на верхней позиции этнических брендов [12. С. 8], что не в последнюю очередь связано с ее символикой многослойности.

Внутренняя сложность сообщества русских, будучи исходно следствием многоликости, обусловила их предрасположенность к межэтническим альянсам и качества народа-посредника. По материалам той же Уральской этноэкспедиции, соседние народы ценят в русских прежде всего доброжелательность и дружелюбие, а сами русские замечают за собой особенное (порой избыточное) благорасположение к иноплеменникам и иностранцам.

При рассмотрении русских в сочетании с другими народами России удобно использовать понятие «этноценоз». В экологии биоценоз обозначает «совокупность всех популяций биологических видов, принимающих существенное (постоянное или периодическое) участие в функционировании данной экосистемы» [13. С. 220]; по сходству, этноценоз (от др.-греч. κοινός «общий») подразумевает сложноорганизованное сообщество, в

котором народы и их группы обладают самобытностью и занимают собственные пространственные и функциональные ниши¹. Они различаются опытом экосоциальной адаптации, стратегией этнического поведения и этнокультурным потенциалом. Этот подход настраивает не на биологизаторство или поиск «кастовости», а на выявление деятельностных реалий самобытности (этничность – не только умозрительное причисление себя к какой-либо общности, но и адекватная деятельность). В зависимости от расселения, численности, сплоченности, культурно-хозяйственной специализации, религиозной традиции, языкового поведения и других особенностей народы играют свои роли в этноценозе. Эти роли могут изменяться и обновляться, но именно они выявляют и обеспечивают самобытность народа в окружающей социальной среде.

Как отметил В.А. Тишков, применительно к языкам «можно и нужно говорить о равноправии языков, но не о равенстве». Существуют мировые языки (top world languages), значимость которых определяется числом носителей, созданным на них «культурным капиталом», общественно-политической и коммуникативно-международной ролью. Не менее важную (в своем измерении) роль для этнической солидарности чеченцев, якутов, тувинцев, бурят играют их «мощные языки со своей письменностью, литературой, фольклором и даже с местной бюрократией по обеспечению “национального языка” и “национального образования” в соответствующих республиках» [15. С. 295, 298]. Языковое поведение, включающее двуязычие (многоязычие), определяет коммуникативную сеть полиэтничного сообщества, формируя этноязыковые ниши и магистрали.

Столь же значимым для народа оказывается этнически самобытное поведение в измерениях родства, пола, власти, религии, экономики, быта, этики, эстетики, а для полиэтничного сообщества – взаимная адаптация этих граней самобытности. Реализация этнокультурного потенциала, не отменяя принципа равных возможностей, создает условия для оптимизации и диверсификации использования природных, хозяйственных и социокультурных ресурсов (примеров этнически эффективного разделения труда немало в истории и современности). Естественной в таких условиях конкуренции придают стимулирующий, а не разрушительный характер сложившиеся и обновляемые нормы этнодиалога и этнодипломатии. На Урале, например, она регулируется обычаями «сдержанного диалога» между этнически различными соседями. Агрессия обычно проявляется в случаях, когда лидеры местного сообщества обнаруживают внешнюю угрозу своему контролю над социальным пространством.

В оттенках этнического поведения отмечаются проявления экстравертности и интровертности. Материалы Уральской этноэкспедиции показывают, что стремление предъявить свой этнокультурный потенциал свойственно отнюдь не численно доминирующим народам (например, русским), а этническим

меньшинствам, заявляющим свое право на самобытность (например, нагайбакам) [12. С. 8].

Впрочем, подобные установки изменчивы. Ненцы, известные в прошлом этнокультурной интровертностью (особенно в части традиционной религии), под воздействием масс-медиа и новых технологий распахнули двери своих чумов для этнотуризма. Тундровая этнотуризм дустрия быстро развивается, хотя оленеводы ощущают

конфликт между старым этикетом, когда гостевание обходилось без предупреждения и оплаты, и новыми нормами коммерческого приема и оказания этноуслуг. Еще недавно этнокультурная самобытность была сокровенным достоянием народа и не мыслилась как товар; сегодняшняя ее коммерциализация, соответствующая глобальному тренду, вносит новые акценты во взаимоотношения между народами и в феномен полиэтничности.

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ Л.Н. Гумилев, использовавший это понятие, вкладывал в него иной смысл: «в этноценоз... входят наряду с людьми те или иные домашние животные, окультуренные растения и вещи... Эскимосы немислимы без собак, иглу и каяков... тунгусы связаны с оленями и лайками, арабы – с верблюдами, индейцы пуэбло – с початками маиса и т.д. Нарушение этноценоза, если оно невелико, только деформирует этнос, а если достаточно велико – разрушает. Иногда, но далеко не всегда, разрушение этноценоза вызывает вымирание этноса, а вместе с тем связанных с ним животных и растений» [14. С. 300].

ЛИТЕРАТУРА

1. Соловей Т.Д. От «буржуазной» этнологии к «советской» этнографии. История отечественной этнологии первой трети XX в. М. : Ин-т этнологии и антропологии РАН, 1998. 298 с.
2. Этнология : учеб. пособие. М. : Академ. проект, Альма Матер, 2006. 624 с.
3. Heidemann F. Ethnologie. Eine Einführung. Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht UTB, 2011. 285 s.
4. Фермойлен Х.Ф. Происхождение и институционализация понятия *Völkerkunde* (1771–1843). Возникновение и развитие понятий «*Völkerkunde*», «*Ethnographie*», «*Volkskunde*» и «*Ethnologie*» в конце XVIII и начале XIX веков в Европе и США // Этнографическое обозрение. 1994. № 4. С. 101–109.
5. Токарев С.А. История русской этнографии. Дооктябрьский период. 2-е изд. М. : Либроком, 2012. 456 с.
6. Токарев С.А. Первая сводная этнографическая работа о народах России // Вестник Московского университета. 1958. № 4. С. 113–128.
7. Суни Р.Г. Империя как она есть: имперский период в истории России, «национальная» идентичность и теории империи // Национализм в мировой истории. М., 2007. С. 36–82.
8. Головнёв А.В., Киссер Т.С. Этнопортрет империи в трудах П.С. Палласа и И.Г. Георги // Уральский исторический вестник. 2015. № 3 (48). С. 59–69.
9. Тишков В.А. Российская полиэтничность в мировом контексте // Диалог культур: ценности, смыслы, коммуникации : XIII Международные Лихачевские научные чтения, 16–17 мая 2013 г. СПб. : СПбГУП, 2013. С. 168–173.
10. Головнёв А.В. Феномен колонизации. Екатеринбург : УрО РАН, 2015. 592 с.
11. Головнёв А.В. Антропология движения (древности Северной Евразии). Екатеринбург : Волот, УрО РАН, 2009. 496 с.
12. Головнёв А.В. Уральские этнодиалоги // Уральский исторический вестник. 2013. № 2 (39). С. 4–15.
13. Федоров В.Д., Гильманов Т.Г. Экология. М. : МГУ, 1980. 464 с.
14. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л. : Гидрометеиздат, 1990. 528 с.
15. Тишков В.А. Языки нации // Вестник Российской академии наук. 2016. Т. 86, № 4. С. 291–303.

Golovnev Andrei V. Institute of History and Archaeology, Ural Branch of Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia). E-mail: andrei_golovnev@bk.ru

ETHNO-CULTURAL POTENTIAL AND MULTI-ETHNICITY (RUSSIAN DIMENSION).

Keywords: ethnicity; multi-ethnicity; anthropology; ethnology; Russia.

Russian ethnology and Western anthropology differ by time of their origin (XVIII and XIX centuries, respectively) and by the main theme: a chief protagonist of Russian ethnography is the particular people, as far as that of Western anthropology is the universal person. Even in USSR, when after the “ethno-boom” of 1920s, the ethnography has been degraded into “subsidiary historical discipline” and pushed to study primordial communism and domestic culture, the ethnographers persistently developed a thematic field of “ethnogenesis and ethnic history.” Up to a day the ethnicity remains the leading theme of Russian ethnology marking its practical orientation. In XX century the “national question” was the powerful driver of political and social reforms. Not accidentally, the USSR was created as unit of peoples, and its Supreme Council was consisted of two chambers, Council of Union and Council of Nationalities. As the West relies on multiparty system, the Russia/USSR relies on multiethnic one, and ethnic motives serves as counterbalance to political centrism. In balancing central power and ethnicity a fluctuation can be traced, even statistically: according to censuses, the number of peoples was growing in periods of political crises and decreasing in periods of centralism peaks. For understanding the “anatomy of multi-ethnicity” a method of anthropology of movement seems to be efficient, since it focuses on motives of behaviors and scenarios of interactions of ethnic communities and their leaders, rather than on static pictures. Interior complexity of Russian community, being multifaceted by emergence, provided their bending toward interethnic alliances in a role of intermediary-folk. In analysis of Russians’ and other Russia’s peoples’ relationship a notion of ethno-cenosis (partly borrowed from ecology) could be applied; it designates a complex community, in which peoples and their groups maintain their self-being and specific spatial and functional niches. These groups differ from each other by the experience of eco-social adaptations, strategies of ethnic behavior and ethno-cultural potential. The peoples play their parts in ethno-cenosis depending on distribution, number, solidarity, cultural-economic profile, religious tradition, linguistic behavior and other features. These roles could change and upgrade, but they identify and provide the people’s self-being in social environment. For each people ethnically distinguishable behavior in dimensions of kinship, sex, power, language, religion, economy, everyday life, ethics, aesthetics is significant, as well as the mutual adaptation of theses peculiarities is important for multi-ethnic community.

REFERENCES

1. Solovey, T.D. (1998) *Ot "burzhuaznoy" etnologii k "sovetskoy" etnografii. Istoriya otechestvennoy etnologii pervoy treti XX v.* [From the "bourgeois" ethnology to the "Soviet" ethnography. The history of national ethnology of the early 20th century]. Moscow: Institute of Ethnology and Anthropology.
2. Mis'kova, E.V., Mekhedov, N.L. & Pimenov, V.V. (eds) *Etnologiya* [Ethnology]. Moscow: Akademicheskii proekt, Al'ma Mater.
3. Heidemann, F. (2011) *Ethnologie. Eine Einführung* [Ethnology. An Introduction]. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht UTB.
4. Fermoylen, Kh.F. (1994) Proiskhozhdenie i institutsionalizatsiya ponyatiya Völkerkunde (1771–1843). Vozniknovenie i razvitie ponyatiy "Völkerkunde", "Ethnographie", "Volkskunde" i "Ethnologie" v kontse XVIII i nachale XIX vekov v Evrope i SShA [The origin of the concept and the institutionalization of "Völkerkunde" (1771-1843). The emergence and development of concepts "Völkerkunde", "Ethnographie", "Volkskunde" and "Ethnologie" in the late 18th and early 19th centuries in Europe and the USA]. *Etnograficheskoe obozrenie – Ethnographic Review*. 4. pp. 101-109.
5. Tokarev, S.A. (2012) *Istoriya russkoy etnografii. Dooktyabr'skiy period* [The history of Russian Ethnography. The Pre-October period]. 2nd ed. Moscow: Librokom.
6. Tokarev, S.A. (1958) Pervaya svodnaya etnograficheskaya rabota o narodakh Rossii [The first collective ethnographic work on the Russian peoples]. *Vestnik Moskovskogo universiteta – The Moscow University Herald*. 4. pp. 113-128.
7. Suni, R.G. (2007) Imperiya kak ona est': imperskiy period v istorii Rossii, "natsional'naya" identichnost' i teorii imperii [Empire as it is: The imperial period in the history of Russia, "national" identity and the theory of empire]. In: Tishkov, V.A. & Shnirelman, V.A. (eds) *Natsionalizm v mirovoy istorii* [Nationalism in the world history]. Moscow: Nauka. pp. 36-82.
8. Golovnev, A.V. & Kisser, T.S. (2015) The ethno-portrait of the empire in the writings by Peter Pallas and Johann Georgi. *Ural'skiy istoricheskiy vestnik – Ural Historical Journal*. 3(48). pp. 59-69. (In Russian).
9. Tishkov, V.A. (2013) [Russian multi-ethnicity in the global context]. *Dialog kul'tur: tsennosti, smysly, kommunikatsii* [The dialogue of cultures: Values, meanings, communication]. Proc. of the Thirteenth International Likhachev Scientific Readings. May 16–17, 2013. St. Petersburg: St. Petersburg University of the humanities and Social Science. pp. 168-173.
10. Golovnev, A.V. (2015) *Fenomen kolonizatsii* [The phenomenon of colonization]. Ekaterinburg: RAS.
11. Golovnev, A.V. (2009) *Antropologiya dvizheniya (drevnosti Severnoy Evrazii)* [Anthropology of motion (Ancient Northern Eurasia)]. Ekaterinburg: Volot, RAS.
12. Golovnev, A.V. (2013) Ural etno-dialogues. *Ural'skiy istoricheskiy vestnik – Ural Historical Journal*. 2(39). pp. 4-15. (In Russian).
13. Fedorov, V.D. & Gilmanov, T.G. (1980) *Ekologiya* [Ecology]. Moscow: Moscow State University.
14. Gumilev, L.N. (1990) *Etnogenez i biosfera Zemli* [Ethnogenesis and the biosphere of the Earth]. Leningrad: Gidrometeoizdat.
15. Tishkov, V.A. (2016) Yazyki natsii [Languages of the nation]. *Vestnik Rossiyskoy akademii nauk*. 4(86). pp. 291-303.